



Константин Михайлович Станюкович
Оборот
Серия ««Морские рассказы»»

OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 6 апреля 2002 года
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136542
К.М.Станюкович. «Морские рассказы»: Издательство
«Художественная литература»; Москва; 1986

Содержание

I	4
II	8
III	14
IV	21
V	26
VI	29

Константин Михайлович Станюкович Оборот Рассказ матроса (Из далекого прошлого)

Посвящается Д.А.Клеменцу

I

Был первый час жаркой ночи. Стоял мертвый штиль.

Имея курс на остров Яву, клипер «Нырок» шел полным ходом, по одиннадцати верст в час, с тихим гулом разрезая своим острым носом притихшую океанскую гладь и оставляя за круглой кормой след в виде широкой серебристой ленты, сверкавшей под светом полной луны.

Вокруг и на палубе царила тишина. Только мерно и однообразно постукивала машина да каждые полчаса раздавались на баке удары колокола, отбивав-

шие склянки. Разбившись маленькими белыми кучками по всей палубе, вахтенные матросы дремали, придулившись у бортов, у мачт и орудий. Некоторые вполголоса лясничали, коротая предстоящую вахту, – молодые матросы – сказками и свежими воспоминаниями о своих местах, а старые – рассказами о прежней службе и о капитанах и офицерах, основательно спускавших шкуры.

Темы эти были неистоцимы.

Весь в белом, с расстегнутым воротом ночной сорочки, молодой лейтенант, вступивший с полуночи на вахту, шагал взад и вперед по мостику, стараясь разгулять сон. Он остерегался прислониться к поручням, хорошо зная, что его немедленно охватит дрема, и, чего доброго, выйдет наверх капитан и увидит заснувшего вахтенного начальника – позор!

И при мысли о таком позоре лейтенант шагал решительнее, посматривая сонными глазами на горизонт: не видать ли серого шквалистого облачка, или огоньков встречных судов, и по временам останавливаясь у компаса, чтобы взглянуть: по румбу ли правят рулевые.

Совершенно равнодушный к красоте этой волшебной южной ночи с томной луной и мириадами ярко мигавших звезд, лейтенант в эти минуты думал, что высшее на свете счастье: лечь в койку и заснуть.

Приблизительно о том же думал и старый боцман Данилов, бесшумно ступая своими большими, слегка искривленными босыми ногами по палубе от бугшпри-та до грот-мачты и обратно.

Уставший после дня обычной служебной суеты и осипший после неустанного сквернословия, он при-тих и, чуть слышно окликая по временам часовых, смотревших вперед, прибавлял какое-нибудь корот-кое ругательное приветствие ленивым, сонным голо-сом, без малейшего одушевления, словно бы лишь по чувству долга и не желая обижать часовых.

Изредка он в качестве исправного вахтенного боц-мана перегибался через борты, у крамбол, удостове-риться – в исправности ли отличительные красный и зеленый огни, частенько подходил к кадке с водой, чтоб выкурить трубочку острой махорки, и стоял ми-нуту-другую у кучки матросов, приютившейся у станка бомбического носового орудия. Стоял и слушал, что рассказывал Егор Дудкин, пожилой, коренастый мат-рос с волосатым лицом, основательный пьяница на берегу и любимый рассказчик на ночных вахтах.

– И откуда только у тебя, у трезвого дьявола, слова берутся!.. – не без зависти говорил боцман, у которого вместо слов «брались» только одни ругательства.

И не без сожаления, что обязанности вахтенного боцмана не позволяют ему слушать Дудкина, отходил

и снова шагал по палубе, разгоняя сон приятными думами о том, что дня через два он покажет в Батавии, как напиваются порядочные боцмана.

II

– ...То-то я и обсказываю, братцы!.. Семнадцать лет околачиваюсь на флоте, всякого, можно сказать, боя видал, а таких оборотов, чтобы озверелый человек да вдруг по своей воле стал добер к нашему брату, не видал и от людей не слыхал... Никак это невозможно... Другие обороты видал! – значительно и не без иронии прибавил Дудкин, слегка повышая свой приятный, немного сипловатый, как у пьяниц, голос.

– Какие такие другие обороты? – спросил кто-то из слушателей.

– А такие, что поступит на корабль какой-нибудь первогодок мичман, ни усов, ни бакенбардов еще нет и звания, и не то что вдарить, а даже изругать по-настоящему стыдится и воротит морду, когда при нем полируют на баке матроса, а через месяц-другой, смотришь, уж в понятие вошел: лезет в зубы и поросенком визжит: запорю, мол! Потому стыдно ему от других отстать. Видит: прочие все мордобойничают, и он. Видит: прочие велят снять шкуру, и он. Вот, мол, какой я форменный стал флотский мичман. Живо в себе жалость покорил. Таких оборотов я много видал... И легкие они были... И только раз в жизни этот самый оборот трудный видел... На моих глазах

он и вышел с одним мичманом... Я у его в вестовых служил... Душа его не принимала обороту... Ну да уж и добер был Леванид Николаич Кудрявцев и на чужую беду обидчист. Другого такого я после и не видал. Не вод был таким на флоте... Однако и он сдрейфил... И из-за этого самого и пропал. Из-за совести, значит... Не осилил... И прямо-таки довели его анафемы до потерянности...

Дудкин примолк и, залитый серебристым светом, строго глядел на усеянное звездами темно-синее небо, по-видимому не имея намерения продолжать.

Так прошла минута, другая.

– Кто довел, Иваныч? Ты расскажи про мичмана... уважь! – нетерпеливо и почти умоляюще прошептал самый внимательный слушатель, молодой, худощавый, чернявый и маленький матрос Снетков, земляк Дудкина, пользовавшийся его расположением и покровительством и всегда сопровождавший Дудкина на берег специально для того, чтобы удержать его от пропоя казенных вещей и в целости доставить на шлюпку.

На клипере так и звали его – нянькой Дудкина.

– Кто довел? – переспросил Дудкин. – Известно кто! Свои... офицеры! Прежде им воля была куражиться над матросами, не нынешняя... И у всех, значит, одно понятие было... И все смеялись над мичманом за

то, что у него другое понятие... «Какой, мол, из тебя выйдет форменный офицер, ежели, говорят, ты не можешь отполировать матроса... Ты, говорят, не мичман, а вроде быдто пужливой бабы!» Каждый день, бывало, стыдили его в кают-компании. Покоя не давали, мордобои!

– А он что... молчал? – спросил Снетков.

– Небось не молчал... Обсказывал им, что матрос не животная. И животную надо, мол, жалеть, а человека и подавно. И закон-положенья, мол, нет такого, чтобы его запаривать... Бывало, горячится, весь дрожит, на глазах слезы, а они ровно жеребцы ржут... «Ты бы, говорят, заместо флотской службы в стракулисты вышел, а то в монахи!» И капитан устыживал – барышней звал... И старший офицер, бывало, ввернет ехидное слово – недаром его на фрегате аспидом звали. И раз запустил: «Наш мичман, говорит, зря мелет... форсит, мол... Дайте, говорит, сроку, и он в лучшем виде будет спускать шкуры». Однако мой мичман все свое. «Вы, говорит, как вгодно, я вам не указчик, но только я ни в жисть пороть людей не буду и извергом не сделаюсь... Я, говорит, присяги не давал палачом быть!» Сказал это и сам весь белый стал, и глаза, как у волчонка, так и горят... А старший офицер в злобу вошел, видит, что не переспоришь, так он начальником обернулся. «Вы, шипит, мичман Кудрявцев, забы-

ваетесь и не понимаете, что говорите. Мы не изверги и не утесняем матросов. Мы, говорит, их только учим и наказываем, если они того стоят». Осадил, значит, моего Леванида Николаича при всех... А ему и конфузно... Он совсем еще вроде желторотого галчонка оказывал, двадцати годов не было полных. Всего второй месяц, что вышел в офицеры и поступил к нам на фрегат «Отважный». А я к нему назначен был вестовым – тоже молодой был матрос. И легко было с им. Простой. Никогда дурного слова не скажет. Завсегда, бывало, лясничал со мною, как с ровней, и никакой в ем гордости, даром что сам графского рода, но только лишенный звания из-за отца. Отца-то разжаловали из графов и решили всех имениев.

– За что? – спросил кто-то.

– Бунтовал с другими господами, когда покойный император Николай вступал на царство. Их всех и раскассировали по Сибири. А по каким таким причинам господа бунтовали, Леванид Николаич в точности не объяснял. Только и сказал, что папенька за бунт пострадал и находится в Сибири. И очень он своего отца обожал. Два его патрета завсегда в каюте висели над койкой. Видный такой и в полковницком мундире. И раз как-то показывает Леванид Николаич на патрет и говорит: «Если б ты знал, Дудкин, какой у меня хороший родитель и как я, говорит, его почитаю... Это он,

когда я еще был мальчонок при ем в Сибири, учил меня добру и потом, говорит, в письмах наказывал быть добрым и справедливым начальником... И я, говорит, оправдаю отца. Не осрамлюсь перед ним!» И оправдывал! Зато и любили его матросы на фрегате. Знали небось, как он один против всех стоял за нашего брата. А раз и под арестом отсидел – капитан посадил да еще лепорт на него подал, чтоб мичмана под суд...

– За что? – спросил чернявый матросик.

– За эту самую жалостливость... Искоренить ее хотел... Однако пойти покурить!

Вслед за Дудкиным поднялись и слушатели и перешли к кадке с водой, у которой стоял медный ящик с тлевшим фитилем.

Все закурили короткие трубочки, и на баке потянуло приятным запахом махорки.

– Скуснее, братцы, нет табаку! – проговорил Дудкин, затягиваясь с наслаждением.

– Из-за чего же вышло, что мичмана под арест, Иваныч? – задал вопрос Снетков, необыкновенно заинтересованный продолжением рассказа.

– Ишь пристал!.. Дай покурить... Обскажу все в подробности...

– Ты это, Дудкин, насчет чего обсказываешь? – спросил, подходя, боцман.

– Насчет мичмана Кудрявцева. На «Отважном» в

сорок восьмом году служил...

– Как не помнить... Чудной мичман был. Вроде быдто умом тронутый...

– Что он тебе зубов не чистил и шкуры не спустил, так он, по твоему рассудку, и тронутый?.. Давно ли ты стал так полагать, Захарыч? Небось как в боцманы вышел? – насмешливо и сердито прибавил Дудкин.

– А ты полегче... Нонче вы все быдто тронутые стали, идола, как прежней строгости на вас нет...

– А тебе, видно, жалко ее?.. Мало тебе всыпано было линьков?.. Или память отшибло?

И Дудкин сунул в карман штанов трубку и пошел к орудию.

Боцман пустил вслед ленивое ругательство.

Через минуту рассказчик и слушатели уселись на прежние места и Дудкин продолжал.

III

– А вышло, братцы, такое дело. Стоял это Леванид Николаич подвахтенным с восьми до полудня, как капитан, после перемены марселей, вскрикнул двух грот-марсовых на бак, на шлифовку, значит. На «Отважном» отшлифовывали безо всякой жалости. И командир, прямо сказать, живодер был. Ему и кличка была дадена: «Живодер». И тую ж минуту зовет к себе мичмана. Прибежал. Руку под козырек. А капитан ему препоручение: «Спустить этим двум подлецам шкуры. По сту линьков! И имейте, говорит, присмотр, чтобы форменно драли... Потачки не извольте, говорит, допускать». Выслушал этто Леванид Николаич и белее сорочки стал. Я в те поры наверху был и видел, как он стоит ни жив ни мертв перед капитаном и как пальцы его у козырька дрожат...

– Испугался, значит, капитана? – небрежно кинул один из слушателей, белобрысый, полнотелый матрос из кантонистов.

– Ты не перебивай, а слушай, и тогда поймешь – испугался ли мичман капитана или препоручения! – строго заметил Дудкин.

И затем продолжал:

– А капитан был нравный и скорый. И видит, что

мичман стоит – взбесился: «Что вы, кричит, как статуи, стоите! Или не слышали приказания? Идите, и чтобы исполнить сей же секунд!» А мичман ему на это громко так отчекрыжил: «Покорно, говорит, прошу уволить меня от такого препоручения. Я его исполнить никак не согласен!»

– Ишь ты! – вырвалось у чернявого матросика радостное восклицание, и он, взволнованный и умиленный, впился своими большими черными глазами в лицо Дудкина.

– Все, братцы, так и ахнули. И сам Живодер вытаращил глаза – не ждал, значит, такой отчаянности. А очнувшись, заревел, ровно зарезанный бык, что уконопатит он мичмана под суд за непокорность, и тую ж минуту велел под арест, чтобы часового у каюты с ружьем... Пять ден отсидел мичман. Только меня к нему и допускали... Я и кушанье носил ему из кают-компании... А он на отсидке все книжки читал и вовсе был спокойный. И как я ему сказал, что все матросы очень даже его жалеют, обрадовался. «Пущай, говорит, отдадут меня под суд и делают что хотят, а я, говорит, не могу вроде быдто палачом себя понимать. И то, говорит, одна тоска слышать, как люди под линьками кричат, и нет силы воли им помочь, а чтобы еще смотреть... не принимает, говорит, этого моя душа...» Слушаю я это, братцы, и быдто лестно. Потому такие лю-

ди от отчаянности тебя спасают. В правду Божию заставляют верить. Вот в чем причина. И все матросы после этого случая стали еще проверженней к мичману и уж как старались, когда он стоял подвахтенным, чтобы на баке все было в полной исправке, чтобы Живодер не мог придраться... Берегли мичмана.

– За такого куда вгодно! – восторженно заметил Снетков.

– А судом судили? – раздался чей-то голос.

– То-то нет, хучь капитан и подал лепорт на мичмана главному командиру, как мы вернулись в Кронштадт из клейсерства по Балтинскому морю. А разговор был с главным командиром! Вскорости как мы с мичманом, по окончании кампании, перебрались на берег, вечером – кульер. «Требует, мол, завтра в восемь утра главный командир!» Я, как следует, разбудил утром пораньше Леванида Николаича, напоил чаем, обрядил в мундир и гайда за извозчиком. Уехал, а я жду в тревоге. Думаю, какая будет ему разделка... Потому ежели судить мичмана, то была б ему крышка, вроде как отцу. Тогда за непокорность и офицеров засуживали... За такие дела не давали пощады. Очень большая была строгость! Хорошо. Жду я мичмана, а он вскоре и вернулся. «Не бойся за меня, Егор... ничего мне за капитана не будет!» Говорит это, а сам вовсе невеселый, и, в раздумчивости

быдто, прибавил: «Облестила меня, старая шельма!» И как амуницию свою всю снял и переоделся, так и обсказал мне в подробности, какой лукавый разговор имел с им главный командир... И что бы вы думали? Он не только не оконфузил Леванида Николаича, как полагалось, криком, а позвал в кабинет, запер двери и, честь честью, велел садиться... Даром что ему на том свете давно паек шел и высох вроде быдто египетской муми, а беда, какой шельмоватый был! Умел, как и с кем... Кого в страх вогнать, кого облестить. Понял, что Леванида Николаича страхом не обескуражишь, и по своей шельмоватости перво-наперво похвалил: «Очень, говорит, на редкость ваше чувствительное сердце. Я, говорит, сам чувствительный. Но как есть, говорит, ваш начальник, должен сказать, что вы никак не смели ослушаться капитанского приказа. И ежели, говорит, дать лепорту полный ход, то будут вас судить по всей строгости флотских законов и присудят матросскую куртку, 1 я, говорит, не хочу вас губить и огорчать государя императора, как он узнает, какие на флоте есть непокорные офицеры!» Понимаете, братцы, какую загвоздку пустил старый дьявол?

– В чем загвоздка-то, Иваныч? – спросил молодой чернявый матросик, не понявший ее.

– А в том, Вась, что адмирал боялся, что до императора Николая Павловича дойдет, как на «Отваж-

ном» закатывали царских матросов... И могла выйти разборка. «Почему, мол, порют сверх положения?» Небось Леванид Николаич показал бы на суде, что и по положению-то матросу чистая каторга, а ежели, как на «Отважном», сверх положения да по триста линьков высыпали и двое матросиков в госпитале померли на фугой день после порки, то выходит быдто вроде живодерни, и жизнь наша мука-мученская! На что я здоровый, братцы, а как один старший офицер на «Кобчике» закатил мне спьяну, подлец, такую же плепорцию, так я только через два месяца на поправку пошел. Фершал в госпитале тогда сказывал, что нутренность у меня, братцы, крепкая, а другой не вынес бы... От чахотки бы помер, говорит. Так вот, по той самой причине, чтобы все было шито да крыто, старый дьявол и прикинулся, быдто жалеет мичмана... Не очень-то он был жалостливый, а тоже: «чувствительный!» В Кронштадте помнили, какой он был капитаном чувствительный. Недаром душегубом звали! И как слукавил, старый хрыч, эту самую загвоздку, он и обсказывает мичману, что лучше, мол, все дело прикончить в секрете. «Я, говорит, велю командиру взять лепорт обратно, а вы, говорит, сходите к нему и повинитесь хучь для виду... Уважьте, говорит, старого адмирала; а я, говорит, так и быть, попрошу капитана, чтобы вас не назначали наказывать матросиков... А

вы все-таки, говорит, привыкайте... Для службы, говорит, надо стараться, а когда и отодрать матросика... От этого его не убудет, и ему же на пользу...» Таким образом он и облестил Леванида Николаича.

Дудкин на минуту примолк.

– Повинился мичман перед Живодером? – спросил кто-то.

– Небось матросская куртка не шуба. Поехал на другой день! Тем дело и кончилось, а для Леванида Николаича только началось!.. Заскучал он с той поры! – значительно проговорил Дудкин. – От своей совести заскучал. А главная причина: совести ему было отпущено много, а характеру мало. Он и терзался, что ходил к капитану вроде быдто виниться и что за труса могут его считать. «Слабый я есть человек, Егор!» Скажет он это мне, махнет в отчаянности рукой, да и айда в клуб. А вернется поздно домой – выпимши... А раньше в рот не брал, вовсе брезговал. И как-то я даже доложил ему, что это нехорошо. В те поры я еще не занимался вином!.. – счел долгом пояснить Дудкин. – «Верно, Егор, нехорошо», – говорит. «Не по вашему званию, Леванид Николаич», – докладываю. Молчит, стыдно, значит... Но только не сердится. Понимал, что я из приверженности к нему. Бывало, целую неделю дома сидит – обед я ему готовил – и книжки читает. Вижу, скучит. Один да один. «Вы,

Леванид Николаич, в Питер бы прокатились!» – скажешь ему. «И там, Егор, одно и то же». – «У знакомых, говорю, побывали бы!» – «Нет, говорит, у меня таких знакомых, чтобы меня настоящим человеком сделали, вроде отца. Небось он с волками жил, а по-волчьи не выл!»

– Поди ж ты! – воскликнул чернявый матросик.

В этом невольном восклицании были и изумление, и любовь, и жалость к мичману.

IV

– Таким родом дожили мы с Леванидом Николаичем до лета. А летом опять пошли в плавание на «Отважном». И опять моего Леванида Николаича стали стыдить в кают-компании... Он огрызался, спорил. Можно, мол, быть форменным офицером без всякого боя; а после и спорить бросил... Ну вас! И тогда стали чураться от него. «Что, мол, ты, такой-сякой, много о себе полагаешь и нами брезгуешь!» И все лето мой мичман скучал. Съедет на берег один и на фрегате один. Только со мной, бывало, и лясничает... В охоту с кем-нибудь поговорить... А службу старательно сполнял, и лестно ему было, чтобы его почитали за форменного офицера. И флотскую часть очень даже любил, из-за эстого самого он и на флоте служил. И море любил, не боялся его. Бывало, в свежую погоду, возьмет шлюпку и айда под парусами кататься. Лихо управлялся! Против его никто на «Отважном» не мог управиться. А катер, за коим он доглядывал, был игрушкой и на гонках всегда призы брал. Глаз у него был зоркий, что у ястребка. И до всего Леванид Николаич доходил. Первый, можно сказать, по усердию был... одно слово, лихой и отчаянный мичман! Из себя молодчик, небольшой, сухощавенький, аккуратный

такой, кудрявый и пригожий, лестно было на него глядеть... Бывало, придет на бак и матросиков обнадежит ласковым словом... И быдто легче станет на нашей живодерне. А уж старался как по службе! Из кожи лез, чтобы доказать капитану, какой он есть офицер, и чтобы ему дали править вахтой... А Живодер наш – надо правду сказать – был дока по морской части и форменный капитан, так отличиться перед им, значит, и лестно Леваниду Николаичу... Однако капитан только обескураживал мичмана. Не прощал ему, что главный командир не дал ходу его лепорту, никакого взыску не сделал и непокорного мичмана оставил на фрегате. Да еще велел, сказывали, не огорчать высших начальников, не драть сверх положения до чахотки. И знал Живодер, чем обескуражить мичмана! Понимал, собака, как он обидчист по флотской части.

– Видно, придирался? – спросил белобрысый.

– За всякую малость. Увидит, ежели когда Леванид Николаич подвахтенным, что снасть не до места или кливер чуточку заполощет, тую ж минуту на бак во всю глотку кричит: «А вы еще полагаете о себе, быдто хороший морской офицер... А у вас под носом кливер шлепает!» Эти выговоры пуще всего донимали мичмана. Молодой был и, как сам справедливый, не понимал сгоряча, что капитан его утеснял за то, что он о себе по-своему полагал. Думал, взаправду за флот-

скую часть. И прибежит, бывало, после вахты в свою каюту, бросится на койку и лежит ничком. Обидно, что капитан то и дело конфузил его при всех. Небось в тоску войдешь!

– Еще бы не войти! – сочувственно вымолвил Снетков.

– По-настоящему такому башковатому да старательному вахту бы препоручить, а вместо того его всячески изводили. А Леванид Николаич от этого пуще в задор входил... Доказать, значит, хотел, что знает флотскую часть. А просить, чтобы ему препоручили вахту, не желал. Горд был. «Ежели, говорит, не дают вахты, значит, я недостоин!» Уж я, бывало, всячески обнадеживаю Леванида Николаича. Матросы, мол, видят, какой он есть понимающий и отважный офицер. «Это, говорит, мне лестно, коли матросы видят, но капитан все-таки не видит. А он, говорит, хучь и изверг, а моряк отличный... Дело, говорит, в тонкости знает!» И не было, братцы, у Леванида Николаича в уме, что Живодер в отместку, со зла не видит его старания... Об евойной справедливости зря полагал!

– Так ему и не препоручили вахты? – спросил кто-то.

– В конце лета препоручили. Заболел один лейтенант, так временно назначили Леванида Николаича. Он старшим мичманом был... Тут-то он и оправдал

себя! Увидали все, какой начальник пятой вахты. Лихость и задор его поняли... Но только из-за этого самого прямо-таки погубили человека. Чтоб им, подлецам...

И Дудкин прибавил по адресу «подлецов» такие проклятия, на какие только способен был старый матрос, прошедший основательную выучку прежнего времени, и примолк.

Серебристый свет месяца освещал напряженные лица кучки слушателей и неказистое, заросшее волосами лицо рассказчика, полное негодующего выражения. Он словно бы вновь переживал далекое прошлое.

Все притихли, и несколько минут царило молчание среди торжественного безмолвия южной ночи.

– Раззадорить беспрерменно хотели Леванида Николаича, чтобы он стал как они все, анафемы! – заговорил наконец Дудкин взволнованным от озлобления голосом. – Непереносно было, видишь ли, сучьим детям, что он в полной исправке вахтой правит, и ни порки, ни боя, ни ругани, и у его на вахте матросы из кожи лезут вон, стараются... И опять же злились, что вся команда, прямо-таки сказать, обожала мичмана, а их, подлецов, только боялась и ненавидела. И пуще всех втравливал капитан, понимая его флотский задор. И втравил-таки, подлюга! Обрадовался Живодер, будь

ему в пекле форменная шлифовка... Небось черти его отшлифуют! – прибавил Дудкин, полагавший, по-видимому, что на том свете телесные наказания еще не отменены и что там шлифуют не хуже, чем на кораблях.

И, несколько облегчив свое возмущенное чувство этими пожеланиями, Дудкин продолжал.

V

– А втравили его, братцы, из-за шквала... Шли мы под всеми парусами в Ревель мимо Гоглан-острова, и на вахте стоял с полудня Леванид Николаич. И вдруг налетел под самым островом шквал с подветра... Скомандовал, значит, мичман фок и грот на гитовы, марса-фалы и брам-фалы отдать и кливера долой, и паруса летом убрали, а грот-брам-фал не отдали... Матрос, дурак, прозевал, и грот-брамсель в лоскутья! А Живодер уж гнусит паскудным голосом: «Превосходно. Ай да вахтенный начальник, у коего брамсель в клочки. Поцелуйте теперь того подлеца, что не отдал брам-фала!» И так накалил мичмана, что он ровно ополоумел и сам не свой прилетел на бак и не своим голосом крикнул боцману, чтоб тую ж минуту дать виноватому двадцать пять линьков. А сам весь трясется, словно лихорадка бьет. На баке все только ахнули... Заступник наш, голубь, и поди ж ты!.. Очень огорчились матросы. «Вот тебе, мол, и голубь!..» Но только его жалеть надо было! – раздумчиво проговорил Дудкин.

– И вчуже, да жалко! – проронил Снетков.

– И пожалели, как узнали, что стал он мучиться совестью... На моих глазах это было. Как сменился с

вахты, так скрылся в каюту, заперся и никого не допускал... Только к вечеру меня допустил. Гляжу: сидит это на койке словно потерянный, и глаза красные. Я ему насчет ужина и чая докладываю: «Покушайте, ваше благородие!» А он только замахал головой и говорит: «Последний я теперь подлец стал, Егор! Что про меня отец-то скажет? Как я его оправдал, а?..» И как зальется, братцы, слезами. И жалко мне его стало, и охота мне его обнадежить... «Напрасно вы, Леванид Николаич, убиваетесь. Это вы, говорю, наказали с пылу». – «А отчего же, говорит, я матроса приказал наказать с пылу, а капитана или старшего офицера с пылу не вдарю?» Вижу, не дается в обман, не таковский. Тогда я докладываю: «За вину, мол, отодрали матроса, и за евто нельзя обижаться». Так выгнал меня вон. «Не утешай, говорит. Нет мне оправдания!»

– Обидчистая в нем была совесть! – вставил молодой матросик дрогнувшим, растроганным голосом.

– То-то совести много. Другому ежели отпороть – наплевать. Отпорол и забыл, а Леванид Николаич несколько дней находился быдто в потерянности. На матросов не глядел – стыдился. И в кают-компании словно виноватый сидел за обедом. А его все еще поздравляют. «Наконец, говорят, в понятие вошли, бросили свое бабство!» А долговязый аспид, старший офицер, зубы скалит. «Я, говорит, не сомневался, что

Леванид Николаич форц свой бросит. Зарекался, что не будет пороть, а как брамсель в клочки, так молодцом поступил!» – и все хвалили и пили за его оборот. А бедный мичман сидел как пригвожденный, чуть не плачет, и как отобедал, скорей в каюту. И как пришли мы в Ревель, закатился он на берег, а к вечеру приехал вовсе пьяный. Я раздел, уложил в койку, а он бунтует и кричит: «Пропавший я человек стал!» И таким родом тосковал он до самого Кронштадта и стал вином заниматься, как съезжал на берег. А как пришли мы в Кронштадт, вышло Леваниду Николаичу назначение в дальнюю, вахтенным начальником на транспорте «Байкал». Он с грузом в Камчатку шел.

VI

– А как на «Байкале» твой мичман, небось наказывал? Вошел в скус? – спросил белобрысый, полнотелый матросик небрежно-легкомысленным тоном.

– Ну так что ж, ежели и наказывал? – раздраженно ответил Дудкин, сурово взглядывая на белобрысого матроса.

– Я так... спрашиваю...

– Может, и следовало наказывать!.. Тоже и наш брат всякий бывает...

И, помолчав, прибавил, обращаясь к чернявому матросику:

– Я с Леванидом Николаичем на «Байкале» не ходил. Просил он, чтобы меня взять, да разрешения не вышло, и меня обернули в экипаж. А ребята, что с им ходили, сказывали, что наказывал он редко и легко, и то когда был выпимши. Зашибал у себя в каюте, один на один и, сказывали, очень скучал. А как пришли в Камчатку, Леванид Николаич списался с транспорта и не пожелал в Кронштадт. Перевелся в сибирскую флотилию и остался в Камчатке. Там и вовсе затосковал и запил. И когда вскорости император Александр Николаич простил бунтовщиков против родителя и вернул им все звания и поместья, то отец Левани-

да Николаича звал сына вернуться. Но только не довелось повидать отца. Ден через пять, как объявили Леванида Николаича графом, он помер, от скорой чахотки, сказывали... А я так полагаю, что от совести. А жить бы да жить, голубчику... Царство ему небесное!

И с этими словами Дудкин обнажил свою коротко остриженную, начинавшую сесть голову и медленно осенил себя крестом. Перекрестились и другие.

Чернявый молодой матросик глотал слезы. В эту самую минуту блеснула ярким снопиком падающая звезда, словно бы напоминая о молодом мичмане.